

В.И. Баранов

О пользе помахать руками после драки, или Какие полемические вихри бушевали над головой Буревестника в последние годы

Казалось бы, сюжет нашего биографического повествования исчерпал себя, конец — делу венец. И могут сказать: надо ли ворошить угли почти угасшего костра, вспоминать те нападки на писателя, которые возникали, набирая силу, на протяжении двух десятилетий? Так сказать, на всякое чиханье не наздравствуешься, после драки кулаками не машут и т. д.

Но разговор в конце концов не только о Горьком. Разговор о нас с вами. И уроки, которые мы можем и должны извлечь из всего сказанного, носят, на мой взгляд, куда более широкий, общезначимый характер. Выросшие в условиях отсутствия свободы слова, мы оказались неспособными достойно использовать эту столь желанную свободу, когда она неожиданно обрушилась на наши головы. У некоторых, думается, при этом даже несколько «поехала крыша».

Разве свобода — это только возможность говорить все, что заблагорассудится, поскольку есть уверенность, что теперь тебе за это «ничего не будет»? Подлинная свобода, исключая внешнее принуждение, подразумевает включение нравственной самодисциплины. Если угодно — добровольного самоограничения, ничего общего не имеющего с пресловутой самоцензурой. Я говорю о самоограничении как неотъемлемой черте подлинного профессионализма, а профессионализм — антипод анархического дилетантизма.

Свое известное философское эссе А. Герцен назвал «О дилетантизме в науке». Помнится, уже в советские времена в одном из журналов появилась статья, варьирующая герценовский заголовок: «От дилетантизма к науке». А нынче, сталкиваясь с огорчительными тенденциями в литературоведении, я понял, что пора бы всерьез поговорить о проблеме «От науки к дилетантизму».

Профессионал спокойно доказывает. Дилетант самонадеянно провозглашает. Свобода — это семь раз отмерь и один раз отрежь. Псевдосвобода — режь, не раздумывая, а измерять будем после. А то и вовсе не станем предаваться этому обременительному занятию: мерить всегда гораздо труднее, чем отрезать.

Что же касается Горького, то не стоит предаваться эйфории, полагая, что трудная правда о нем наконец взяла верх над различного рода домыслами и невежественными обвинениями (у писателя достаточно реальных ошибок, чтобы приписывать ему мнимые). Мера непонимания трагедии Горького оказалась столь велика, корни воинствующего нигилизма — столь живучи, что побеги отживших, казалось бы, концепций опять пошли в рост.

Перенесемся на четверть века назад, чтобы воссоздать ту атмосферу, в которой господствующая идеология растила и пестовала благостный миф об основоположнике социалистического реализма.

Вспомним поездку группы советских и зарубежных литераторов на теплоходе на родину писателя в связи со столетием со дня его рождения. Макс Фриш описывает путешествие в город Горький так:

«Пленум на палубе. Сидим в наушниках. Чайки. Каждый оратор говорит о Максиме Горьком одно и то же. Перевод с тринадцати языков совершенно излишен: Горький как пролетарский писатель, как основоположник социалистического реализма. Постепенно я начинаю понимать (без наушников) по-испански, по-румынски, по-португальски, по-фински, даже на языке, который не могу разгадать. Максим Горький и его конфликт с Лениным, его эмиграция после революции, Максим Горький и Сталин, писатель

и государственная власть — об этом ни слова». Во время роскошного банкета вечером, продолжает свой рассказ Фриш, «некий усердный румын снова напоминает в микрофон, что Максим Горький был пролетарским писателем, является таковым и таковым останется. Пожилой господин из Праги уверяет в этом; какой-то индиец это подтверждает».

Как говорится, немало воды утекло с тех пор. И вот — на месте Буревестника, основоположника и т. д., появляется нечто противоположное. О Горьком, о его драматической судьбе, возникло множество суждений, принадлежащих зачастую людям, к изучению жизни и творчества писателя непосредственного отношения не имеющим.

Казалось бы, все нормально: откровенно заговорили те, кому раньше попросту затыкали рот кляпом казенной официозности. Однако пьянящая атмосфера свободы многим вскружила головы, а бумага, как известно, все терпит...

«Жаль советскую литературу, — восклицает в «Курантах» некая М. Волина. — Алексея Максимовича не жаль!.. Место себе М. Горький выхлопотал неподалеку от друга своего Железного Иосифа, на крови».

Волиной второй Ю. Гончаров:

«Горький, как и другие немногие небескультурные большевики, нес не культуру, а цивилизацию, оказываясь конкистадором в родной стране, — нес огнем и мечом, а не Словом».

В заключение еще один пассаж, вовсе уж никому не ведомой И. Путлиной:

«Он [М. Горький] искренне заблуждался, искренне каялся, менял позиции, возможно, искренне подписывал приговоры» (?!).

От развенчивания Горького-идеолога переходят к развенчиванию Горького-художника. Автор совсем иного ранга и уровня, нежели цитированные выше, В. Пьецух, тем не менее полагает, что «вообще, значение писателя Горького сильно преувеличено». Относится это и к ранним произведениям, «исполненным подросткового пафоса, замешанным на аллегории, отдающей в восемнадцатое столетие, построенным на материале (?) из жизни животных и босяков», и к «нравоучительным пьесам, точно специально рассчитанным на школьные хрестоматии», — вплоть до «нуднейшего Клим Самгина...»

«Тем более удивительна, — заключает писатель, — его небывалая популярность, скоропалительная слава всероссийская, европейская, а после и мировая, свалившаяся на Алексея Максимовича Бог весть по какой причине...»

К мифу о «свалившейся на Горького мировой славе» был причастен и такой авторитет, как Иван Бунин. Гораздо раньше, чем наши критики, а именно в 1936 году, он назвал мировую славу Горького «совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств...».

Однако стоит копнуть малость поглубже, как дутой оказывается не слава Горького, а досужая легенда о ней. Славу невиданную, небывалую, фантастическую — не знаю уж какие еще эпитеты искать — словом, такую, какой не имел ни один писатель в мире, Горькому не «организовывал» никто. А выражалась она уже на стыке веков в несметном количестве критических и биографических публикаций. Только в одном 1902 году критическая статья либо в газете, либо в журнале появлялась каждый день! Подсчитано, что с сентября 1902 по декабрь 1904 на русском и иностранных языках вышло свыше ста книг о Горьком. Целая библиотека! Насколько известно, тогда еще публицити не регулировалось структурами вроде отдела культуры ЦК или КГБ...

Ну а уж за границей-то и вовсе никто не мог насильно побуждать издателей печатать неугодных авторов.

Время все расставляет по своим местам, и, если следовать логике горьковских оппонентов, кривая популярности писателя — ложной популярности! — должна была бы пойти вниз позднее. Обратимся, однако, к статистике и возьмем наугад цифры изданий советских писателей за границу хотя бы за пятилетие, с 1976 по 1980 год. Лидерами тут можно считать М. Шолохова и Ч. Айтматова: их книги выходили соответственно 74 и 72 раза. Дальше следуют В. Маяковский и Ю. Трифонов (51), А. Толстой (48),

В. Распутин (41), В. Быков (27), С. Есенин (26). А Горький? Горький издавался 313 раз. Надо полагать, цифра эта не нуждается в комментариях.

Разумеется, приведенные данные никого не лишают права высказываться о Горьком критически. Но все же вряд ли можно считать оправданным уничижительный тон иных современных выступлений. На вопрос: «Что есть советская литература и есть ли она?» — В. Войнович отвечает без колебаний:

«Многое из литературы, к которой можно приложить этот эпитет, надо отправить, да она уже отправлена на свалку... Взять Горького, например, «Мать» — это просто плохой, глупый, примитивный роман».

Что и говорить, роман не лишен крупных недостатков. Но — глупый, примитивный? Надо полагать, борьба в прошлом с тоталитарным режимом все же не дает права переступить ту черту, за которой бескомпромиссность превращается в грубость и прямолинейность, тем более что разносные оценки не сопровождаются никакими аргументами.

В бездоказательности, напротив, никак не упрекнешь Б. Можаяева, выступившего в популярном журнале с пространной статьей по поводу печально известной брошюры М. Горького «О русском крестьянстве», изданной в Берлине в 1922. Ну конечно же, многие суждения писателя о крестьянстве, перерастающие в обобщенные характеристики русского национального характера, грешат совершенно очевидной односторонностью, и тут с Можаяевым невозможно не согласиться (хотя опять-таки все это было сказано оппонентами Горького семь десятилетий назад). Но все же многие полемические суждения Б. Можаяева слишком «размашисты».

Еще в 1974 году на Западе вышла книга, рядом с которой по степени ее беспощадной правдивости вряд ли встанет еще какое-нибудь творение XX века. Это «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына. Особую силу придает книге сочетание глубины и масштабности чисто исторического исследования, основанного на огромном фактическом материале, с субъективно-индивидуальным опытом автора. Читателям, вероятно, запомнилось не только колоритное описание посещения Горьким Соловков в 1929 году, но и тот беспощадный и совершенно несостоятельный по существу приговор:

«...Сталин убивал его зря, из перестраховки: он воспел бы и 37-й год».

Приговор воистину убийственный, особенно если учесть гигантский авторитет, который обрел уже к тому времени писатель во всем мире.

Через два года журнал «Континент», публикуя статью польского критика Густава Герлинг-Грудзинского «Семь смертей Максима Горького», дал, прямо на глянцевого обложке, следующую врезку:

«Сегодня в Советском Союзе — в очень трудных условиях, не всегда еще во всем успешно — начал работать неофициальный “суд истории”. Включить “дело Горького” в повестку дня этого суда — важная задача русской интеллигенции».

Прозвучал призыв в 1976 году. «Континент» был тогда мало доступен в нашей стране не только широкому читателю, но даже и специалисту-филологу. Проявляя трогательную заботу об идеологическом целомудрии народонаселения державы, соответствующие ведомства старались понадежнее упрятать такого рода продукцию на дальние полки спецхранов. При всем служебном рвении с задачей этой справлялись они лишь частично. Авторитет журнала среди читающей публики был очень высок.

И призыв к «суду истории» был услышан. Как мы понимаем теперь, был он смелым призывом к правде, к освобождению общественной мысли от идеологических подтасовок и искажений. Тех подтасовок и искажений, которые превращали Горького в безгрешного носителя рафинированных коммунистических идей.

Однако историк литературы должен будет отметить одну своеобразную особенность этого суда. Упомянутая уже статья Герлинг-Грудзинского, содержащая много суровых критических слов о Горьком, вовсе не имела, так сказать, априорного осудительного уклона. В ней прямо говорилось о том, что, возвращаясь на родину

в 1928 году, Горький имел благие намерения повлиять в лучшую сторону на протекавшие в ней процессы, что он не собирался поступаться при этом перед властями своим человеческим и профессиональным достоинством.

К сожалению, потом случилось нечто странное. Этот достаточно трезвый тон оппозиционного «Континента» был утрачен многими авторами отечественных, тогда еще вполне социалистических изданий, и мы уже видели в начале главы, до каких нелепостей доходили иные из них.

Увы, формулировки тех, кто брал на себя функции обвинителей на суде истории, были, мало сказать, решительны. Порой — безапелляционно приговорны. Писатель, в ту пору народный депутат СССР, Б. Васильев в обширной статье «Люби Россию в непогоду» рассматривает Горького как послушного воплощения государственной доктрины, прикрывавшего своим авторитетом зарождение и утверждение официально-стандартизированного искусства, нареченного «социалистическим реализмом». Васильев заявляет:

«Горький по возвращении [на родину] ни разу не поднял голоса в защиту народа, в защиту культуры, правды, справедливости, закона, хотя все происходило на его глазах».

Ну а если выступил Алексей Максимович в защиту отдельного человека, то это уже не имеет отношения к выступлениям в защиту народа?

Юлия Николаевна Данзас, в недавнем прошлом фрейлина императрицы Александры Федоровны, увлекавшаяся религиозно-философскими вопросами столь серьезно, что в 1917 году была назначена профессором Петербургского университета, попала на те самые Соловки. Горький встретил свою давнюю знакомую со столь невыгодной биографией во время посещения островов, откуда Данзас была освобождена благодаря его хлопотам. А потом он помог ей, оставшейся без всяких средств к существованию, получить литературную работу, а затем и выехать за границу.

Данзас — профессор, бывшая фрейлина, представитель высшего слоя российской культуры... Но вот пример совсем скромный, рядовой. Пишет Наталья Леонидовна Граве, дочь нижегородского поэта второй половины XIX столетия Леонида Григорьевича Граве, в Нижегородскую архивную комиссию тотчас после смерти писателя.

«Грустно мне от того, что умер Алексей Максимович Горький... Так печально, что я не могу побывать в Нижнем, зайти в музей Алексея Максимовича. Мне так хотелось, чтобы в Литературном Горьковском музее был портрет отца моего, которого Горький помнил и о котором так тепло отзывался...

Пока был Горький жив, у меня была какая-то надежда. Ушел честный, отзывчивый, глубокий человек, испытавший в жизни много тяжелого, горького и потому умевший заглянуть и понять истерзанную душу другого...»

Жил Горький — жила надежда. Очевидно, позицию надо основывать на фактах. И чем полнее знание фактов, тем лучше. Но, положив руку на сердце, копаться в фактах — дело нудное, затажное. Возможны «современные, интегральные» способы объяснения противоречий в душе художника. И вот тот же Васильев пишет, что «в каждом крупном таланте скрываются Христос и Антихрист».

Пока еще не вполне ясно, как конкретно можно применить подобную очень современную методологию к характеристике природы таланта, но важно, что сказано смело, раскованно, без оглядки на всякие там догмы и стереотипы. Правда, на приоритет Б. Васильеву претендовать не придется. Его лет на тридцать опередил И. Сургучев статьей «Горький и дьявол»:

«...Путь Горького был страшен: как Христа в пустыне, дьявол возвел его на высокую гору и показал все царства земные и сказал:

— Поклонись, и я все тебе дам.

И Горький поклонился.

И ему, среднему, в общем, писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лев Толстой, ни Достоевский. У него было все: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь».

...Беломорканал был вторым, после Соловков, пунктом общественного обвинения Горькому. И, наконец, третий — это статья, сразу обратившая на себя внимание подчеркнутой агрессивностью заголовка: «Если враг не сдается — его уничтожают».

Право же, каждого из трех этих деяний вполне достаточно, чтоб скомпрометировать человека в глазах общества. Ну а когда соединяются они все вместе... Представилось, что Горький сам убил себя.

Нетрудно понять тех писателей, которые выступали в печати с осуждением Горького. Едва ли не первым сделал это В. Ерофеев в повести «Москва – Петушки». Среди многочисленных литературных цитат, щедро вводимых автором в повествование, вставленное в негативный контекст выражение «безумство храбрых» вовсе не является мимолетно-проходным. Либо упоминание имени Горького и его образов, либо развернутое полемическое отступление-эссе о нем, каприйском жителе, — все это в поэме встречается несколько раз. Так что Горькому «повезло» здесь гораздо больше, нежели какому-то другому литератору.

Ф. Искандер в аллегорической философской сказке-притче «Кролики и удавы» изобразил некоего придворного воспевателя буревестника, своими призывами облегчающего удавам расправу над несчастными кроликами. И. Золотусский без каких-либо оговорок объявил Горького 30-х годов страшным человеком.

Этот критический ряд усиливали публикации, к которым по разным причинам не имел своевременного доступа наш читатель, — от впервые обнародованных дневниковых записей столь разных художников, как З. Гиппиус, К. Чуковский, М. Пришвин, до мемуаров И. Бунина, В. Ходасевича и других эмигрантов.

Казалось бы, произошло то, что предрекал один из критиков вскоре после революции 1905 года: конец Горького. Вывод такой как будто подтверждается призывом одного из писателей изъять книги «проштрафившегося» из школьного обучения.

К чему приводит крайность экстремистского отрицания, можно судить по следующей информации:

«Варварским способом расправились с библиотекой бывшего парткома КПСС на Челябинском тракторном заводе. Идеологически вредные книги порвали и сожгли. В большой костер, разведенный силами отдела рационализации и изобретательства (!), попали также Горький, А. Фадеев и другие».

Дружный хор оппонентов Горького заглушал авторитетные мнения совсем иного рода. Б. Пастернак, например, восторженно называл Горького «океаническим человеком». А как не вспомнить суждение М. Цветаевой, полагавшей, что Нобелевскую премию следовало бы присудить не Бунину, а Горькому:

«Премия Нобеля. 26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина. Уклониться — изъевлять протест. Я не протестую, я только не согласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее — Горький. Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи. Но так как это политика... король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому...»

Многочисленным заявлениям хулителей Горького можно противопоставить лишь отдельные суждения в его пользу, принадлежащие нашим современникам: Л. Аннинскому, Е. Евтушенко, С. Залыгину... Но, пожалуй, лишь Е. Евтушенко характеризует позицию Горького в целом, находя обобщающий образ-метафору. В серии миниатюр «Русские гении» он пишет:

«Цыганок, когда пороли Алешу, незаметно подставлял под розги свою руку, чтобы облегчить удары, отчего вся рука вспухла. Горький столько раз подставлял не то что руку, а душу свою, когда били русскую интеллигенцию, так что вся душа распухла. Сейчас модно обвинять Горького и за социалистический реализм, и даже за сталинские лагеря.

Горький сам в последние годы жизни был заключенным. Ни купленным, ни слепым он не был».

Поэт делится своей догадкой о том, что Горький просил Сталина отпустить его снова в Италию, чтобы поведать миру страшную правду, с которой он столкнулся в стране, и потому оплачивал своим вынужденным молчанием и приветствиями возможность вырваться из-за позолоченной персонально для него колючей проволоки.

И те, кто призывал оградить школьников от Горького, и те, что предавали огню его книги, забыли (а многие, может быть, и не знали), что реальный опыт правозащитной деятельности писателя в годы Гражданской войны был взят на вооружение теми мужественными людьми, которые решительно выступали в защиту свободы творчества и инакомыслия еще в 1960-е годы, почти за десять лет до начала кампании против Горького. Вспомним замечательный документ общественной мысли 1960-х — письмо Лидии Чуковской Шолохову по поводу его речи на XXIII съезде партии, письмо, написанное по горячим следам события, 25 мая 1966 года, но, естественно, увидевшее свет лишь годы и годы спустя («Процесс исключения». М., 1990).

Резко осуждая А. Синявского и Ю. Даниэля за публикацию своих произведений на Западе, Шолохов выразил неудовлетворенность «мягкостью» приговора и вспомнил времена Гражданской войны, когда при борьбе с «контрой» не проявляли излишней щепетильности, обращаясь к закону, а руководствовались больше «революционным правосознанием».

«Именно в «памятные годы», то есть с 1917 по 1922, когда бушевала Гражданская война и судили по «правосознанию», — пишет в своем замечательном письме Чуковская, — Алексей Максимович Горький употребил всю силу своего авторитета не только на то, чтобы спасти писателей от голода и холода, но и на то, чтобы выручать из тюрем и ссылок. Десятки заступнических писем были написаны им, и многие литераторы вернулись благодаря ему к своим рабочим столам. Традиция эта — традиция заступничества — существует в России не со вчерашнего дня, и наша интеллигенция вправе ею гордиться...»

При всем различии критиков Горького объединяют два обстоятельства: благородный гражданский гнев и количественная одинаковость исходного материала для осуждения: все те же три кита — Соловки, Беломорканал, «Если враг не сдается...». Что же касается знаменитого цикла «Несвоевременных мыслей», то его вроде бы можно отодвинуть на задний план, потому что речь в нем ведется об ином, более раннем периоде.

И тут вновь приходится повторить: о жизни Горького конца 1920-х и в 1930-е годы знают страшно мало, и выдвинутые обвинения во многом обусловлены этим незнанием.

В последнее время взгляд критики стал заметно меняться: налицо стремление к большей трезвости, объективности и к отходу от тех убийственных ярлыков, которые наклеивались на Горького в 1970–80-е годы.

Теперь на сцене в России и за рубежом поставлено множество спектаклей по пьесам Горького, вызывающих заинтересованный отклик. Появилось немало ценных публикаций. А спокойных, деловых упоминаний о нем в прессе множество, их нынче никто не стыдится... В конце концов, можно любить или не любить произведения Горького, но нельзя не признать: перед нами уникальное явление в культуре XX столетия по масштабам проделанной работы, по влиянию на развитие общественно-эстетического сознания (влиянию, скажем прямо, неоднозначному). Так что всякий раз, когда мы говорим о Горьком, мы заводим речь о чем-то гораздо большем, являющемся какой-то частью нашего сегодняшнего бытия.

Гораздо более радикально, чем в России, изменилась картина мирового общественного мнения о Горьком. Духом вдумчивого анализа, лишённого какой-либо предвзятости, сочувствием к трагической судьбе писателя пронизаны книги о нем, выпущенные специалистами, годы и годы посвятившими изучению его биографии и творчества: Гейра Хьетсо (Норвегия), Цецилии фон Штудниц и Армина Книгге (Германия), Ирвина Уайла (США). Отнюдь не отличается априорным обличительством и монография немецкого исследователя Ханса Гюнтера «Социалистический сверхчеловек: Максим Горький и советский героический миф» (1993).

В конце 1994 года на польском телеэкране был показан многосерийный фильм французских кинематографистов «Чудовище — портрет Сталина», созданный в 1989 году. Хороший антитоталитарный фильм. Но вот в одной из серий всего на несколько секунд мелькнули две фигуры: Сталин и Горький. На трибуне Мавзолея. Улыбающиеся. О чем-то мирно беседующие. Ну, друзья — водой не разольешь. А Сталин — сплошное обаяние!

В плену иллюзии о несокрушимой дружбе Сталина и Горького до сих пор, как свидетельствует французский фильм, пребывают миллионы, и, разумеется, не только в Польше.

В июне 1995 года известный публицист, работающий на радио «Свобода», Борис Парамонов посвятил Горькому специальную передачу. Вообще говоря, «Русские вопросы», историко-культурная программа, которую постоянно ведет Б. Парамонов, на мой взгляд, одна из лучших рубрик «Свободы». Это впечатление сложилось у меня потому, что в течение двух лет жизни за рубежом я практически ежедневно слушал «Свободу».

Однако на сей раз взяться за перо заставило меня совсем иное чувство огорчения и досады. Передачу «Еще раз о Максиме Горьком» я прослушал четырежды (последний раз 15 июня 1995). И чем дальше, тем активнее становилось это чувство. Обычно избирающий уверенную позицию, что называется, на острие атаки, на сей раз уважаемый автор оказался в роли задремавшего в арьергардной повозке воина, который, пробудившись неожиданно и не успев разобраться, «какое тысячелетие на дворе», бросился в бой.

Предметом своего полемического экскурса на сей раз Б. Парамонов избрал сборник «Неизвестный Горький», выпущенный Институтом мировой литературы в конце 1994, а поводом для выступления послужила рецензия на него в «Литгазете» 17 мая 1995. Собственно говоря, с Б. Парамоновым трудно не согласиться, когда он утверждает, что принципиального переворота в наших представлениях о Горьком сборник не производит. Отдельные публикации, сколь бы ни были они любопытны и многочисленны, в конце концов погоды еще не делают. Сейчас, как никогда, нужно обстоятельное, объективное, где надо — бескомпромиссно критическое научное исследование-биография (а может быть, и не одно), которое бы опиралось на всю сумму известных ныне фактов, анализировало бы головоломный порой механизм причинно-следственных связей между ними. Пока о возможности появления такого труда что-то ничего не слышно.

Но вернемся к Б. Парамонову и критикуемому им сборнику. Прослушав передачу, приходишь к выводу, что не только рецензия на него, но и сам сборник — лишь повод для пропаганды критиком своей давней точки зрения. Какой именно — об этом чуть ниже. А пока немного в развитие тезиса об арьергардности позиции нашего автора.

Б. Парамонов, как известно, вещает из Нью-Йорка. Но относительно всякой истины, в том числе той, что «большое видится на расстоянии», можно сказать, что она относительна. Если руки не доходят до наших публикаций о Горьком (среди коих, грешен, есть и мои), то почему бы не поинтересоваться, как дело обстоит в тех же Штатах? Между тем профессор Нью-Йоркского же университета Виталий Вульф утверждает, что в Америке существует своего рода преклонение перед Горьким.

Известный немецкий ученый Вольфганг Казак, автор знаменитого «Энциклопедического словаря русской литературы с 1917 года», в одном из интервью раскрывает природу наших ошибок:

«Одно из худших и непреодоленных свойств советской системы — человека (а следовательно, и писателя) то ли без умолку хвалить, то ли без остатка проклинать... Со стороны литературоведов было бы правильно, открывая то негативное, что мы знаем, например, за Горьким или А.Н. Толстым, одновременно ссылаться на положительное...»

Блестящий ниспровергатель пороков советской системы, Б. Парамонов оказался в плену именно «одного из худших и нисколько не преодоленных свойств советской системы...» Характерный пример. Горький обвиняется в беспринципности, двоедушии. Опираясь на В. Ходасевича, критик сообщает, что в середине 1920-х Горький собирался было послать резкий протест против изъятия из библиотек неудобных большевикам книг и даже пригрозить отказом от советского подданства, однако не сделал этого. Что было,

то было. Однако, с моей точки зрения, куда более важно другое свидетельство В. Ходасевича в том же мемуарном источнике:

«...Кроме умирающего Ленина, ненавидел весь Кремль... Недаром Троцкий осмеливался открыто, в печати называть его контрреволюционером».

К. Чуковский, которого Б. Парамонов зачисляет в свои союзники, вспоминает, что про большевиков Горький говорил — «они».

Но такие факты Б. Парамонова не устраивают, потому что работают против его концепции. Дело, однако, еще глубже. Б. Парамонов в принципе не согласен с В. Ходасевичем, так как полагает, что из понятия «весь Кремль» надо исключить по крайней мере одного человека. И человек этот... Сталин! Тот, кто еще в 1917 году грубейшим образом одернул Горького, автора статьи в «Новой жизни» и ее редактора, объявив его по существу политическим мертвецом.

Б. Парамонов выдвигает очень смелый тезис: Сталин Горькому гораздо ближе, чем Ленин, так как куда более последовательно, не считаясь ни с какими нормами, реализовал программу большевистского насилия над жизнью. Критик не просто хочет сблизить имена Сталина и Горького, превратив писателя в послушного слугу античеловеческого режима. Он идет дальше, стараясь выдать Горького за некую зловредную нравственно-психологическую аномалию, за идеолога человеконенавистничества, считавшего культуру средством агрессивного насилия над жизнью.

Б. Парамонов полемист опытный, он ухватывается за одно из самых сложных, внутренне противоречивых положений горьковской философии человека: ориентацию на его «перевоспитание» и даже усовершенствование его психофизической структуры. Провозгласив в начале столетия «Человек — это звучит гордо!», Горький с течением времени приближался к выводу о несовершенстве человека как создания природы (наследование дурных привычек и пороков, подверженность болезням, наконец, бессилие перед лицом смерти, часто явно преждевременной). Говоря о трагизме человеческого бытия на Земле, одиночестве в космическом пространстве, он мечтал о поисках путей духовного и физического оздоровления человека (выступил инициатором создания Всесоюзного института экспериментальной медицины).

Все это невозможно без поисков науки, без экспериментов. И вот тут Б. Парамонов восклицает на весь мир: «Позор! Это философия Освенцима!» В доказательство он ссылается на письмо Горького Ольге Скороходовой. В письме ей от 3 января 1933 действительно говорится, что «необходим эксперимент над самим человеком, необходимо на нем самом изучить... вообще все процессы его организма».

Возникает вопрос: что же за «подозрительная» особа — Скороходова, с которой, как с единомышленницей, восторженно делится своими «человеконенавистническими» идеями писатель?

Ольга Ивановна Скороходова — слепоглухонемая от рождения. Воспитывалась в Харьковском институте дефектологии, где научилась говорить, читать и писать. Ее письмо Горький называет «одним из тех великих чудес, которые являются достижениями нашего разума, свободно и бесстрашно исследующего явления природы»... В другом письме, расценивая личность необычного корреспондента как «символ победоносной энергии человеческого разума», Горький называет саму Скороходову «объектом изумительно удачного, научно важного *эксперимента*», осуществленного в институте. Что тут античеловеческого? И разве не во имя торжества Человеческого над негативными явлениями природного процесса была написана той же Скороходовой книга «Как я воспринимаю окружающий мир»? Спрашивается, при чем тут Освенцим?

Да и вообще столь ли уж предосудительно в принципе вмешательство экспериментирующего человеческого разума, стремящегося познать тайны природы, в естественное самодвижение жизни? Разве не экспериментировал над собой бывший соратник Горького по каприйской группе Богданов (Малиновский), возглавивший после революции Институт переливания крови и погибший вследствие поставленного над собой

опыта? Сколько экспериментов ставили на себе люди, рискуя жизнью, при освоении водной, воздушной стихий, Космоса! А трансплантация сердца и других органов? Искусственное оплодотворение как исправление ошибки природы? Да и сам Горький, лежа на смертном одре, пытался следить за процессами, протекающими в его организме, и заносил результаты наблюдений на бумагу дрожащей от слабости рукой...

Не лишенный противоречий и изъянов, горьковский подход к человеку есть порождение его пытливой, ударяющейся порой в крайности собственной мысли, и холодное «высококвалифицированное» палачество Сталина тут вовсе ни при чем.

Придется подробно остановиться и на статье, в которой с неожиданной для середины 1990-х тенденциозностью освещается в целом жизнь Горького в 1920–30-е, а сам он объявляется ни много ни мало человеком, предавшим свой народ.

Главы из книги В. Шенталинского «Воскресшее слово» («Новый мир», 1995, № 3–4), изданной в Париже в 1993, не могут не вызвать повышенного интереса читателя. Построена на материале секретных архивов КГБ и Прокуратуры СССР. Повествует о трагических судьбах И. Бабеля и М. Булгакова, П. Флоренского и Б. Пильняка, О. Мандельштама и А. Платонова... И вдруг этот ряд завершается... М. Горьким! Официоз, послушное орудие в руках власти и т. д. и т. п. Как же он-то, Буревестник, залетел в эту компанию? Ведь опять же совсем недавно раздавались ультрарадикальные призывы «потеснить» его из разряда классиков советской эпохи, а именно преследуемых, поставить наконец на место недавних «генералов».

Повествование В. Шенталинского отчетливо делится на два пласта: автобиографический рассказ о том, как по его инициативе создавалась при Союзе писателей «Всесоюзная комиссия по литературному наследию репрессированных и погибших писателей» (декабрь 1988), с каким трудом приходилось «пробивать» идею в писательском Союзе и особенно «наверху». Гражданская активность автора вызывает глубокое уважение. Без его открытий разговор о многих писательских судьбах оказался бы теперь неполон.

Второй пласт публикации — об одном писателе, по выражению В. Шенталинского, «без биографии». И это — о Горьком. «В многочисленных изданиях, посвященных ему, повторяется один и тот же набор хрестоматийных, тщательно процеженных данных... Отношения Горького с современниками искажены, некоторые люди вообще изъяты из его жизни». «Словом, Горький — эта всемирная знаменитость — едва ли не самый неизвестный советский писатель».

Из опубликованных фрагментов книги с бесспорной очевидностью вытекает вывод: сразу после революции «великий пролетарский писатель» сделался объектом постоянного надзора ЧК. На Лубянке на него было заведено особое досье, включившее множество документов, свидетельствующих, с каким пристальным вниманием следили власти за каждым шагом писателя, контролировали его контакты с современниками, перлюстрируя переписку, составляя особые обзоры наиболее «крамольных» публикаций, анализируя донесения сексотов... Особый интерес вызывают у спецслужб профессиональные устремления писателя, его взгляды, отношения с врагами советской власти. Целая индустрия изучения малейших проявлений инакомыслия!

Значительны показания судебного процесса 1938 года, в ходе которого выяснилось немало подробностей, проливающих свет на поведение лиц из ближайшего окружения Горького, например, таящие загадку ответы подсудимого Ягоды на вопросы прокурора, в которых звучит угроза разоблачения чего-то такого, что могло бы нарушить весь ход грандиозного спектакля (то есть причастность к ним самого Хозяина).

Повторю важные сведения о М. Будберг. Через третье лицо, без расписки неоднократно получала она от Ягоды крупные суммы в иностранной валюте. Не знаменательно ли, что из восьми «заложённых» Крючковым в качестве участников антисоветского заговора в живых осталась только одна она? Все это убедительно

подтверждает категорическое утверждение Н. Берберовой о связи «железной женщины» с советской разведкой.

Важное место занимают в книге новые материалы о смерти сына Горького Максима и роли в его устранении Крючкова и лечащего врача А. И. Виноградова.

В. Шенталинский не ограничивается публикацией новых документов. Стремясь придать повествованию определенную целостность, если угодно — сюжетность, он движется к обобщениям, как увидим ниже, весьма кардинальным. А для этого ему, естественно, приходится в большом количестве использовать результаты усилий других исследователей. Кстати сказать, как раз жанру «дневника» (а именно под такой рубрикой публикуется «Воскресшее слово») ничуть не помешали бы ссылки на какие-то работы горьковедов — ведь занимались они не только наведением пресловутого хрестоматийного глянца.

Между тем, скажем прямо, не так уже мало в публикации случаев, выдающих почерк неспециалиста. «Роман “Мать”, первый шедевр соцреализма, высоко ценил Ленин». Кто не знает, что Ленин назвал книгу «своевременной»? Но чуждый самолюбванию, автор «Матери» в общеизвестном очерке признается, что это был единственный комплимент, который высказал Ленин, и тотчас он заговорил о недостатках книги. Хорош «шедевр».

Неверно, что в 1929 Горькому не удалось выступить в защиту травимых рапповцами литераторов. Единственный из писателей, он в печати мужественно встал на защиту Е. Замятина и Б. Пильняка. А опубликовать не удалось вторую статью, «Все о том же», еще более острую. Но вовсе не потому, что этому препятствовали «Авербахи». Запрет был наложен на куда более высоком, чем вожди РАПП, уровне. На подобные «частности» (а я указал не на все из них) можно было бы не обращать внимания, если б они не открывали дорогу к упущениям куда более крупным, создающим превратное представление о личности писателя, тех намерениях, которыми он руководствовался.

«...Многослойное окружение все глуше отгораживало Горького от внешнего мира, от реальной жизни. Но ведь он и не пытался разорвать его, принимая предложенную ему “нишу” без сопротивления. Тем более что кольцо это удобно и приятно камуфлировалось то под лавровый венок, то под юбилейный пирог».

Тут все решительно противоречит реальному положению вещей, подлинному характеру Горького. Трудно назвать писателя, который бы не то что с придирчивостью, порой просто с жестокой, гипертрофированной самокритичностью относился к своему творчеству. Запах «лаврового венка» не только не кружил ему голову, но был противен, а вкус «юбилейного пирога» вызывал тошнотворную реакцию. Пытался разорвать кольцо! Протестовал!

«“Ураган чествований” крайне смущает меня. Написал “юбилейному комитету”, чтоб он этот шум прекратил, если хочет, чтоб я в мае приехал» (письмо от 30 декабря 1927).

Увы, слишком плотным и умело организованным было окружение...

Я завершаю подготовку обширного тома мемуаров современников о Горьком, в котором представлен весь спектр мнений о нем, включая самые злобные. Читатель найдет в книге множество подтверждений подлинного поведения Горького в этой ситуации, буквально травмированного юбилейным славословием, равно как и во многих других случаях, трактуемых нелюбознательными критиками превратно.

«...На широко разрекламированном Первом съезде советских писателей, собственно, только довели до сведения общества то, что уже давно решили и продумали до мелочей в кабинете Сталина и горьковской столовой»...

Что, и доклад Бухарина о поэзии был такой «мелочью»? Тот самый, в котором пальма первенства отдавалась Пастернаку и подвергался критике Маяковский? Теперь хорошо известно, что докладчик, бывший глава антисталинской оппозиции, разгромленной в 1929, спасенный Горьким, был утвержден вопреки воле Сталина и благодаря настойчивости Горького.

Но все это пока цветики. А вот и ягодки:

«...Стерилизовалось уже само сознание писателя, его превращали в некоего зомби — автомат, удобный в обращении».

«Буревестник превращен в подсадную утку, используется как ловушка для инакомыслящих».

«...Предал свой народ, благословил тиранию»...

Что и говорить, более тяжелые обвинения трудно себе представить. А вызваны они известной горьковской поездкой на Соловки. Совсем иначе расценивает этот визит человек, не по слухам и легендам знакомый с Соловками, а побывавший там не по своей воле, один из интеллигентнейших людей нации, академик Д. Лихачев. Он говорит о компромиссе Горького с властью, обещавшей вследствие визита писателя облегчить режим. Горький выполнил условие, палачи — нет. Можно, конечно, в наше время проявлять непримиримость и к компромиссу, но достойно ли его смешивать с тем, чего гнусней нет на свете, — с предательством?

...Сломленный человек, ставший послушным орудием в руках властей, заболевший той болезнью, «которая, прогрессируя, приведет в конце концов Горького к полному перерождению, превратит из защитника и вдохновителя угнетенных в защитника и вдохновителя угнетателей»... Как говорится, комментарии излишни! Аргументы же В. Шенталинский пускает в ход старые, заезженные. Продолжал восхвалять Сталина... Историками давно доказано, что это превратилось в ритуальную норму поклонения вождю и далеко не всегда раскрывало подлинное отношение к нему... Не протестовал против жестокого закона... Прежде всего, мы не знаем содержания многих бесед Горького со Сталиным. Е. Замятин, например, убежден, что в процессе имевших одно время тесных личных контактов с Хозяином Горький в немалой мере способствовал смягчению диктаторского режима в стране. Не протестовал публично? Где и как это мог сделать Горький или кто-либо на его месте в такой стране? Публиковать протест за границей? Равносильно самоубийству. Горький не боялся смерти (хотя и много думал о ней издавна). Но он очень не хотел отправляться на тот свет преждевременно — «Я намерен очень долго жить» (1927), — чтобы реализовать свою программу развития культуры в стране, рассчитанную на все возрастающий профессионализм, отлучение бездарей, прикрывающихся партийным билетом, самоуверенных дилетантов. «Надо прекословить», — внушал он молодому Ю. Герману, и сам делал это, но не по-мальчишески, а как дипломат (по характеристике того же Замятина). Дипломат поневоле. И достаточно тонкий. Но вот только смысл и природу этой дипломатии не выудить из готовых цитат. Их надо искать в подтексте, в сопоставлении самых разнообразных фактов и документов.

И еще один, последний конкретный пример, который с особой наглядностью свидетельствует: беда В. Шенталинского в том, что, вводя новые важные факты, отнюдь не подтверждающие его суперкатегорические выводы, он начисто игнорирует другие факты и мнения, которые его прокурорские обвинения опровергают.

«Сегодня мы можем сказать определенно: это выдумки или заблуждение, что Горький сопротивлялся насилию и стал бы помехой в 1937 году, за что-де Сталин его и убрал».

Позволительно спросить: кто это «мы»? В сие понятие явно не входит, к примеру, авторитетнейший историк, автор всемирно известной книги «Большой террор» Роберт Конквест, которого трудно заподозрить в особом пристрастии к Горькому, но еще более — в наивном дилетантизме. На основании многолетних изысканий он со всей категоричностью ученого утверждает, что большой террор начался не после убийства Кирова, а после смерти Горького (и не мог начаться при нем).

Немного о смерти Горького; В. Шенталинский касается и этой тайны. В недрах Лубянки ему удалось отыскать историю болезни писателя. Но совершенно непонятно, какие основания дает она для того, чтобы ставить под сомнение попытки Ягоды через Крючкова устранить Горького раньше, всячески нарушая его режим. И разве не ясно, что покушаться на здоровье и жизнь второго человека в государстве кто-либо мог лишь с санкции Первого?

Свою книгу В. Шенталинский писал на рубеже 1980–90-х, когда наступал «пик» длившегося два десятилетия разоблачительства по отношению к Горькому, и, увы, отдал этому нигилистическому поветрию немалую дань. К счастью, как уже говорилось, в последнее время за рубежом и в нашей стране картина стала заметно меняться.

Но при этом (что весьма огорчительно) корни у сорняка дилетантизма оказались куда более глубокими, а выживаемость его в условиях в общем-то существенно изменившегося к лучшему климата — высокой до изумления.

Мне уже приходилось касаться переписки Горького со Сталиным в связи с публикацией ее в «Новом мире» в 1997–1998. Последний раздел переписки, охватывающий 1934–1935 годы, после той критики, которая прозвучала в том же «Новом мире», они отдали в журнал «Новое литературное обозрение». Здесь он и увидел свет в № 40 за 1999.

Сеанс шоковой терапии начинается сразу же. Называется статья «Великий гуманист», но сногсшибательный поворот традиционной теме придает эпитафия:

«Предательская рука Горького легла на плечи русской литературы.
А. Бем».

Как говорится, скажи мне, кто твой друг... Не осчастливившая горьковедческую науку фундаментальными открытиями, Т. Дубинская находит в лице А. Бема (1886–1945) союзника, к горьковедению вообще не имеющему никакого отношения. Эмигрант, А. Бем стал известен преимущественно своими работами о Достоевском. О современной русской литературе писал «Письма», не брезгуя сотрудничеством в таких изданиях, как газета «Руль» И. Гессена.

Так кто же все-таки Горький: великий гуманист или предатель русской литературы? И если он сочетает то и другое, то как же ему это удастся?

Отдадим должное автору статьи: в дальнейшем она избегает всякой двусмысленности. Ее мышление отличает воистину строевая, армейская четкость. Да-да, нет-нет, что сверх того, то от лукавого:

«Планы Горького и Сталина совпадали». «Пришло время сказать, что публицистика Горького “сталинского периода” была столь же лжива, как и вся (!?) советская периодика». В процессе эволюции Горький превращался «в типично советского крупного чиновника от литературы». «В сочетании “пролетарский гуманизм” слово “пролетарский” есть синоним слова “сталинский”». «Горький все знал».

Между тем категорический тезис о «всезнательстве» Горького подвергается в литературе аргументированному опровержению: «Горький не знал, как знаем мы теперь... что «секретные документы» относительно «вредительства» — это фальсификация». Кому же принадлежит сие важное утверждение, опровергающее Т. Дубинскую? Той же Т. Дубинской! Только одно содержится на с. 230, а другое на с. 238. Воистину, правая рука и так далее.

Г-жа Дубинская не только отважно дискредитирует Горького, но еще и «редактирует» его в выгодном для себя духе. Касаясь судьбы «Промпартии», Горький пишет Сталину: «Я, разумеется, за высшую меру»... Ох, уж это коварное многоточие! В действительности мысль Горького звучит совершенно иначе, если не обрывать ее произвольно и тенденциозно.

Да, конечно, он за «высшую меру» «вредителям». Но лучше все же оставить «негодяев» на земле... Ну, а сам процесс над ними «поставлен» «замечательно, даже гениально».

Позвольте, о чем речь? – спросит читатель. О премьере спектакля или «о полной гибели всерьез»? Ну разве не звучит плохо скрытая насмешка по поводу шпиономании, столь характерной для сталинского тоталитаризма: «Гуляют люди с бомбами по Лубянской площади с утра до вечера — и никто их не видит!»

Будучи верна себе и своим догматическим установкам, Т. Дубинская стремится сделать все, чтобы дискредитировать Горького не только как писателя, но и как личность.

«...Горький понял, принял и не нарушил “правила игры” на протяжении всего своего сотрудничества со сталинским режимом... Горький находился в подчиненном положении, что давало возможность руководителю государства беззастенчиво использовать его в своих интересах. Горький соглашался “продавать лицо”... И делал это вполне успешно, ловко играя словами, занимаясь казуистикой»...

Метафизическое мышление — это оперирование статичными величинами. Ему совершенно чужд историзм как важнейший принцип познания. И абсолютно прав был Вольтер, сказавший: презрение к диалектике не остается безнаказанным.

Только один пример (из целого ряда ему подобных). Т. Дубинская выставляет писателя Ф. Панферова как невинную жертву горьковского сговора со Сталиным в 1934. Но как дело обстояло в действительности? В год великого перелома (1929) Сталин в одном из выступлений расхвалил роман «Бруски» за правильное, «партийное» отражение коллективизации. Однако весной 1934 года в расчете на расположение Горького перед съездом писателей Сталин «сдал» своего протеже Горькому, и тот с убийственной убедительностью продемонстрировал чудовищную языковую безвкусицу «Брусков». Дело, однако, этим не кончилось. Съезд прошел не так, как надо, Горький повел себя иначе, чем рассчитывал Сталин. Началась пора конфронтации, прямого наступления Сталина на Горького. И вот третий, финальный этап сюжета «Горький — Сталин — Панферов». 28 января 1935, аккуратно в день открытия VII Всесоюзного съезда Советов, «Правда» публикует «Открытое письмо А.М. Горькому» с резкой критикой общепризнанного литературного лидера. Кто автор? Читатель догадался: Панферов! Горький тотчас пишет обстоятельный ответ. Но... ему отказывают в публикации! Проще говоря, затыкают рот. Ему, второму лицу в стране! Но Т. Дубинская трактует ситуацию в присущей ей манере: «Горький промолчал» (!).

Вот какие процессы скрываются за фактами, если их исследовать во взаимосвязи, в динамике, а не манипулировать ими и уж тем более не исказить или фальсифицировать в пользу своей «концепции».

Наш автор не допускает и мысли, что Горький был способен в 1930-е на какое-то развитие, что он, пусть и не без труда, и не всегда успешно, преодолевал свои противоречия и ошибки, что в нем нарастало скрытое от поверхностного взгляда, но все более последовательное сопротивление крайностям сталинского режима и вождь прекрасно понимал это. Что и привело в конце концов к насильственному «устранению» опального литератора. Кстати, трагического финала горьковской судьбы Т. Дубинская не касается вовсе, так как это не укладывается в прокрустово ложе ее концепции. Да и зачем вождю было устранять верного сталиниста, исполнительного чиновника от литературы (вроде А. Жданова или А. Щербакова)?

Тем не менее очевидно: работа у горьковедов впереди огромная. Интересы дела требуют скорейшей публикации новых документов, преодоления пережитков как дилетантизма, так и кастовости, номенклатурной амбициозности ради подлинного коллективного объединения тех, кто любит горьковедение в себе, а не себя в горьковедении.

...Оливы пахнут горько. Жесткий лист,
Нагретый солнцем знойного полудня,
Насытил воздух масляной отравой.
И тусклое деревьев серебро
Одето едким голубым туманом.
Не хочется дышать и трудно думать.
А думать — есть о чем.

М. Горький. 20-е годы, Италия

Вот одно — заключительное — раздумье.

...Он стоит на высоком постаменте — сутуловатый, в длинном плаще, — такой, каким прибыл сюда, на площадь Белорусского вокзала, в мае 1928 года.

Надпись на пьедестале:

«Великому русскому писателю Максиму Горькому от правительства Советского Союза.

10 июня 1951 г.»

Как раз к 15-летию со дня смерти...

Сей монумент воздвигало сталинское правительство, то самое, которое и отправило писателя в «лучший мир».

Еще одно подтверждение той великой лжи, которая внедрялась в наше сознание в течение десятилетий. Мы так привыкли к ней, что и не замечаем, что это ложь.

Никакое правительство не имеет право воздвигать памятники, демонстрируя тем самым особую приверженность усопших Руководству. Сегодня избранное народом правительство у власти, завтра — ушло в отставку. Так во всем цивилизованном мире. Но только не в сталинской империи.

Памятники ставят народы и государства. Не подчеркивая, впрочем, этого особо.

Я не призываю сносить монумент. Избави Бог. (И так мы в этом деле наломали дров предостаточно.) Я не призываю воспользоваться зубилом и молотком, чтобы уничтожить слова, за которыми великая историческая ложь и трагедия.

Просто надо поставить рядом небольшой стенд с надписью:

«Великий русский писатель Максим Горький

1868–1936»

Тем самым мы сотрем последний слой грима, искусственно наложенный на его облик рукой Хозяина.

И вот к такому стенду я мысленно кладу эту книгу как венок памяти нашего великого соотечественника и моего земляка, жизнь которого была насильственно прервана 60 лет назад.

1989 – август 1996 г. Нижний Новгород – Москва – Быдгощ (Польша) – Москва